

**ПОМНИТЕ** у Толстого? «Люди, мало читают к искусству, думают часто, что художественное произведение составляет одно целое, потому что в нем действуют одни и те же лица, потому что все построено на одной завязке или описывается жизнь одного человека. Это несправедливо... Когда мы читаем или созерцаем художественное произведение нового автора, основной вопрос, возникающий в нашей душе, всегда такой: «Ну-ка, что ты за человек?»

Да, именно этот вопрос многократно вставал и передо мной, когда я читал «Тихий Дон» в том, теперь уже редком издании «Роман-газеты», помещенном двадцать девятым годом, на обложке которого была фотография юного Шолохова в шапке-кубанке и чекмене, подписанном черкесским в серебряном наборе поясом...

Каждый раз, когда события, происходящие в романе, достигали своего драматического предела, а в этом, как я заметил, был свой ритм, вдруг являлось желание взглянуть на портрет. Казалось, лицо человека должно было объяснять то, чего ты не мог отыскать в тексте. С обложки смотрел неизвестно-подобно молодой человек, спокойный и мужественно строгий, в его лице была открытость, свойственная только очень юным лицам, и то особое выражение, которое хочется назвать веселой ироничностью. Как ни юн был человек, но в его облике были то спокойное достоинство и зрелая сила, которые единственно могут отождествляться с тем прекрасным, что свойственно людям шолоховского Дона...

### 1.

Вместе с товарищами по посольству я был в Бухаресте ранней осенью сорок четвертого. Все, кто знаком с положением дел в Румынии той поры, помнят: идею добрых советско-румынских отношений поддерживала вся группа деятелей национальной культуры, среди которых были мировые авторитеты: поэт Аргэз, композитор Энеску, ученик Пархон. К ним принадлежал и Садовяну, прозаик, живой классик. Помню один разговор в доме писателя неподалеку от шоссе Жиану, когда высказывание знаменитого румына касалось художественного существа Шолохова и было особенно обстоятельно.

— Не знаю другого современного писателя, книги которого были бы в такой мере живописны, — говорил Садовяну. — Наверно, для художника, пишущего о людях, живущих на природе, это естественно, но Шолохов тут явил такое богатство красок, какого, как мне кажется, в современной литературе не было.

В годы, о которых идет речь, собственно, было два писателя, для творчества которых село было землей обетованной: Шолохов и Садовяну. Если один говорил так о другом, как Садовяну о Шолохове, согласитесь, возникало желание проникнуть в смысл этих слов до конца.

Дон в своей заповедности, казалось, был один такой. Его богатство, наверно, были определены самим положением донской земли на карте России. Тут сшиблись языковые течения, идущие из Москвы и Предкавказья, из Запада и Украины, — языковый монолит, образованный этим сочетанием, был необыкновенно богат красками. Да что тут говорить о дикоминном монолите. Когда в самом шолоховском герое свились эти ветры и эти воды, идущие с запада и востока!

Когда Садовяну говорят о живописности шолоховской прозы, конечно же, он имеет в виду первую очередь язык писателя: весомость слова, его емкость, его цветовые достоинства, его образность.

Зримость — величайшее качество шолоховского языка. Зримость едва ли не физическая, когда писатель вызывает к твоей способности видеть, слышать, ощущать, обонять, при этом все по-шолоховски ново, все отмечено верностью шолоховского глаза.

О дожде: «Ветер скруто кропил дождевыми каплями, будто милюстину сыпал на черные ладони земли». Сила сравнения — в его логической точности: будто милюстину сыпал на черные ладони земли».

Собственно, образность языка имеет целью категорию точности, которая позволяет воссоздать полутона в красках и звуках и тем более запахах.

«Подрагивая от холода, Григорий пришел рядом. От мокрых Аксиньиних волос тек нежный волнующий запах...

— Волосы у тебя дурнотяжно пахнут. Знаешь, этаким цветком белым...

Нет, это не праздная уловка автора — жизнелюбия шолоховского героя, его земное существо, его способность винить жизни и в той чуткости, с какой он воспринимает само дыхание земли. Лишить этой черты шолоховского героя — значит во многом лишить его существо, которое делает его сыном земли. Завидно шолоховское умение портретировать героев — по слову того же Садовяну, сила образного шолоховского слова нигде не оказывается так полно, как в портрете.

В том, как в романе Шолохова возникает образ Григория, как прорисовываются его черты, есть свойственная Шолохову способность развивать характер. О бабке-турчанке: «Она прятала лицо, редко показывая тоскующие одиничные глаза». О дяде Прокофии: «...но он, распахнув крошки, шел медленно, как по пахотной борозде, скользя по яркой ладони, хрупкой, как по яркой ладони, хрупкой».

Об от

це Пантелеев: «Под уклон спавших годков закряхтил Пантелеев Прокофьевич...» Писатель будто вывел портрет своего главного героя, глядя на характерные лица бабки, деда и отца.

Обращаясь к мысли мастера Садовяну, можно сказать: у писателя есть необходи́мость взглянуть на персонажей романа в перспективе лет, вдохнув в них магическую энергию движения.

### 2.

В конце шестидесятых годов судьба занесла меня в Англию — у меня было не сколько встреч с писателями, в частности с писательской четой Сноу — Чарльзом Сноу и Патриком Джонсоном.

Небольшой овальный стол был сервирован в гостиной с немалым изяществом. Беседа началась с воспоминаний о Вешенской, гостями которой незадолго до этого были супруги Сноу, и постепенно распахнулась на шолоховское творчество, коснувшись многих граней «Тихого Дона».

Конечно, мне трудно в полной мере судить о достоинствах оригинала, — заметил хозяин. — Но и в переводе есть лирическая красота, которая подкупает. Для меня «Тихий Дон» — эпос, который производит тем большее впечатление, что перед нами герой эпि-

ческой мифологии. В самом деле, есть нечто непреложное в том, что определяет правдивость произведения и что, как мне видится, сильнее автора: логика характера. Да, именно логика характера, как та высшая сила, которая повелевает художником. Казалось, автор всесилен и решительно все в его власти, однако на поверку оказывается, что всесилен не автор, а герой, которого автор породил.

### 3.

В моем сознании земная доля Григория нерасторжима с судьбой Дона — если в самом лице земли может отразиться человек, то это тот случай... Военные дороги привели меня дважды на Дон, который хочется назвать шолоховским, хотя места эти и отстояли на некоторое расстояние от родных мест писателя.

Первый раз в декабре сорок второго, в аструную зиму, сухой, неистово стелющейся поземкой, обнажающей степь и наметающей снеговые горы, самолет доставил нас прямо к пологому берегу закованного в ледяную броню Дона у станицы Старый Мамон. Помню, как мы, группа офицеров, прикомандированных к танковой армии, провели ночь едва ли не от вечерней зари до утренней в балке, занесенной обильным снегом, помогая артиллеристам вывезти из снежного пленя их пушки — артиллерия должна была следовать за танками. Помнишь, в те редкие минуты, когда

ровую критику на слово, не дав сказать того, что она хотела сказать. Можно подумать, что «Тихий Дон» не получил того резонанса, на какой могло рассчитывать создание Шолохова. Вряд ли эта точка зрения верна. Резонанс, который роман нашел повсюду, сделал автора виднейшей фигурой современной литературы, а его слово — высокоявторитетным. Выражаясь образно, с именем Шолохова сегодня можно решить любую задачу.

Впрочем, мы имеем возможность не быть голословными.

Двадцать пять лет назад в Москве стал выходить журнал «Иностранная литература». Журнал призван был способствовать сплочению писателей, ратующих за мир. В редакции было высказано мнение: если мы хотим рассчитывать на внимание крупных зарубежных писателей, что для молодого журнала было бы бесценно, то к нам должен обратиться Шолохов...

Апрель был нетеплым, и в арбатских палисадниках, обреженных тенечком, лежали еще сколки синего снега. Было утро, не раннее, близкие Михаила Александровича успели разойтись, и дверь открыта он сам. Для своих пятидесяти лет он мне показался молодым: крепок в ходьбе, подтянут — был бы рыхл, при его невеликом росте это было бы заметно.

вспомнил, что в одной московской семье хранится ружье, созданное кубанским мастером. Уже взяв на себя входную дверь, я вдруг решаясь сказать о своей затее Михаилу Александровичу.

— Когда это вас осенило? — спрашивал он, заметно ожижившись. — Знаменитого кубанского мастера? Как его фамилия? — Я прошу о фамилии моего земляка. — По-моему, я слыхал эту фамилию. Однако как вы это припомните?.. Жду вас... нет, зачем нам откладывать на неделю?.. Приходите в следующий понедельник!

Тремя днями позже редакция посыпает Михаилу Александровичу папку с материалами, в которых нашла отражение идея Женевы, как ее восприняли писатели. А еще через три дня собираюсь к Шолохову и я, прихватив, разумеется, ружье знаменитого мастера. Оно тем более интересно, что действительно спрятано руками прославленного умельца-оружейника, вернее — одной рукой... Паралич лишил мастера руки, и много лет он почти не работал.

И вот новая встреча в Староконюшном: Нетнет, а Шолохов взглянет на ружье, что лежит на подоконнике, одарив его ульбкой, откровенно восхищенной, а то подойдет и возьмет в руки, любуясь красновато-коричневой окраской ложа, вороненым, в тонкой резьбе металлом затвора и стволов. «Это так красиво, что может и не стрелять?..» — будто говорит Михаил Александрович: в самом деле, ружье так красиво и, показало, необычно, что завораживает своим видом.

— Значит, мастер делал ружье одной рукой? — вдруг спрашивает Шолохов. — Художник! — говорит он, заметно волнуясь: рисунок, который он рассмотрел, увлек его, видно. — Значит, старый комбат удалился в шадринскую даль, чтобы сотворить такое?.. А знает, в этом, пожалуй, большем человеческом, чем воинственности, не так ли? — неожиданно произносит он и затихает над машинописным текстом, который должен передать мне...

Он склонился над статьей, а я пытаюсь представить себе: какой он, пишущий Шолохов? Наверно, у него есть навык и в скрипции, но этот навык сейчас не улавливается: пишет он медленно, подолгу задумываясь, даже как-то меняясь в лице. Взглянешь на него, и кажется, что бумага вызывает у него реакцию, похожую на смятение. (Вот диво: написал «Тихий Дон» и так и не смирил в себе этого чувства.) В тексте, который перед ним, правит он немногим, тщательно вписывая слова, — почерк рационален, перо не отрывается от бумаги, пока слово не написано, зрячая нить связывает буквы. Эта рациональность и в склонности к сокращениям, они чаще общепринятых и создают впечатление остродефинитности шолоховского времени. Работая, он ручку держит почти вертикально к бумаге — странно, что это не мешает ему писать — приучил себя. Иногда он подносит свободную руку ко лбу и как бы отводит волосы, и я еще раз говорю себе, как хорошо у него линия лба. Если в его корнях, неблизких, есть нечто мелеховское, то оно в цвете глаз и, пожалуй, форме носа, особенно, когда смотришь на Шолохова в профиль, — впрочем, в облике казака, при этом и донского, как его сформировало время, сказывается близость востока, по крайней мере это видится мне.

Он склонился над статьей, а я пытаюсь представить себе: какой он, пишущий Шолохов? Наверно, у него есть навык и в скрипции, но этот навык сейчас не улавливается: пишет он медленно, подолгу задумываясь, даже как-то меняясь в лице. Взглянешь на него, и кажется, что бумага вызывает у него реакцию, похожую на смятение. (Вот диво: написал «Тихий Дон» и так и не смирил в себе этого чувства.) В тексте, который перед ним, правит он немногим, тщательно вписывая слова, — почерк рационален, перо не отрывается от бумаги, пока слово не написано, зрячая нить связывает буквы. Эта рациональность и в склонности к сокращениям, они чаще общепринятых и создают впечатление остродефинитности шолоховского времени. Работая, он ручку держит почти вертикально к бумаге — странно, что это не мешает ему писать — приучил себя. Иногда он подносит свободную руку ко лбу и как бы отводит волосы, и я еще раз говорю себе, как хорошо у него линия лба. Если в его корнях, неблизких, есть нечто мелеховское, то оно в цвете глаз и, пожалуй, форме носа, особенно, когда смотришь на Шолохова в профиль, — впрочем, в облике казака, при этом и донского, как его сформировало время, сказывается близость востока, по крайней мере это видится мне.

Шолохов так и сказал: большее человеческое, чем воинственности. И все, что говорил он в этот день, было исполнено этой мысли — человеческого. И три строчки машинописного текста, которые я унес в этот день из шолоховского дома на Староконюшном и вот уже столько лет храню у себя как драгоценную реликвию, были исполнены этой же мысли. Кстати, там есть строчки, где эта мысль выражена прямо, важные строчки, обращенные к писателям и, с легкой руки Михаила Александровича, облетевшие земной шар: «У нас могут быть разные взгляды, но нас объединяет одно: быть полезным человеком».

Наверно, тут самое время сказать, что письмо Шолохова вызвало отклики повсюду в мире, что на него отозвались Кальвино и Хикмет, Фолкнер, Ильеш и Неруда, что оно соблюжало добрую службу журналу «Иностранная литература». В высшей степени поучительна философия явления, вызванного шолоховским призывом. В нем, в этом явлении, был заряд добра, а следовательно, способность будить энергию созидания. Было в этом явлении и нечто такое, что как бы вновь показало нам «Тихий Дон» в его неубывающей мощи. Знаменательно, что шолоховское творение пришло нам на помощь, когда возникла необходимость обрасти взаимопонимание в самой насущной из проблем — проблеме мира. Конечно, могут быть и иные свидетельства того, что работа писателя живет и действительно помогает человеку, но, согласитесь, трудно найти свидетельство более разительное и весомое, чем это.

Помните у Толстого: «...Когда мы... созерцаем художественное произведение нового автора, основной вопрос, возникающий в нашей душе, всегда такой: «Ну-ка, что ты за человек?»

Необыкновенно, благодаря Шолохову, писательской и человеческой, имеющей виду его большого созидания.

## ВОЗВРАЩАЯСЬ К «ТИХОМУ ДОНУ»

Савва  
ДАНГУЛОВ



Иллюстрация О. Вереского к роману М. Шолохова «Тихий Дон»

удавалось оглянуться вокруг, думалось: «А ведь это шолоховская степь — сколько от сюда до Вешенской, верст сто — сто пятьдесят?»

...Я был здесь вновь ранней осенью сорок четвертого, правда, не на Дону, а на притоке Дона — Хопре, когда в земных стежках формировалась чехословакская бригада, и степь открылась мне в мягком свечении степного солнца, в пыльных, посеревших по осени травах, в проселках тополевых рощ, какие встречаются здесь в степных низинах — лето в тогор было добрым, степь радовала своей зеленой силой... В простирах, что открывались глазу, опознавалась шолоховская степная природа, способное отозваться воспоминанием, которое

В самом облике Дона, как он возникает у Шолохова, есть нечто одушевленное — писатель точно призывает Дон свидетели, как бы смотрят на происходящее его глазами, он и советчик, Дон-батюшка, он и судья. В самом существе речи есть и участливое, и сочувствие, и спокойно-невозмутимое, и бесстрашное — он будто должен осмысливать великий спор людей с высоты своего ума и опыта, Дон-проводник...

— Вот сюда, пожалуйста, — произнес он, открыл дверь в комнату слева, голос негромкий, приятно баритональный, как у всех куряющих, чуть тускловатый. — Да, да, вот сюда...

Комната, не столь уж просторная, выходящая, как мне показалось, окнами на Староконюшный, есть в ней что-то от кашенской квартиры, в которой Шолохов не очень угадывается.

— Садитесь, быть может, ближе к окну? — он пододвигает стул. Несмотря на солнечное утро, в комнате сумеречно. — Небось шли пешком — сегодня добрый день, — он внимательно смотрит на меня, улыбается. — Вы откуда родом?..

— Из тех самых мест, Михаил Александрович, куда Григорий грозит увезти Аксинью...

— Не с Кубани?

— С Кубани...

— Молодая земля, — произнес он задумчиво. — И все страсти у людей молодые: коли, оружие... — Он улыбнулся